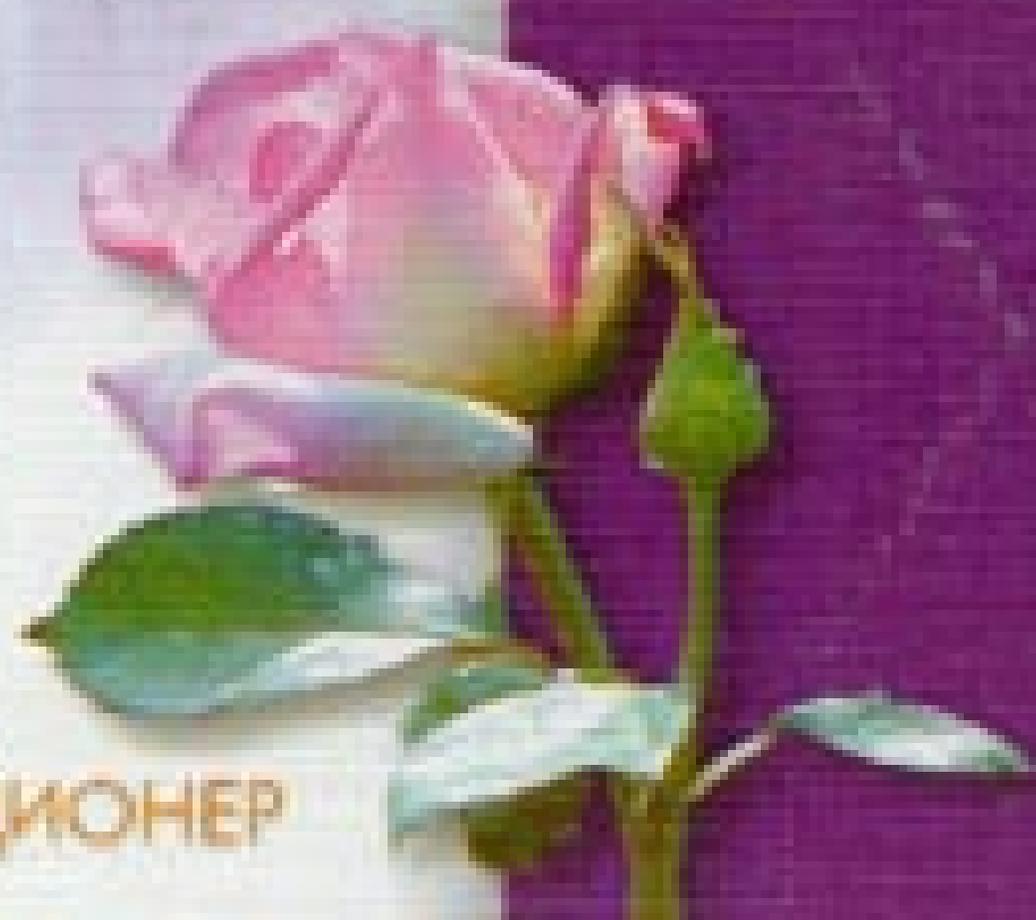


ЩЕРБАКОВА

ГАЛИНА



АКТРИСА
И МИЛИЦИОНЕР

Annotation

Человек слаб и одинок в этом мире. Судьба играет им, как поток – случайной щепкой. Порой нет уже ни надежды спастись, ни желания бороться. И тогда мелькает впереди луч света. Любовь – или то, что ею кажется. И вновь рождается надежда. Потому что Жизнь есть Любовь, а Любовь есть Жизнь...

Произведение входит в авторский сборник «Актриса и милиционер»

- [Галина Щербакова](#)

-

Галина Щербакова

Стена

Повесть

Этот вечер – как все. И вчерашний и завтрашний... Шипят две газовые горелки. На одной – чайник, на другой – ковшик для кофе. Давно хочется приобрести специальную посудину с суживающимся верхом – какое-то у нее смешное название? – но все не попадает. А с другой стороны... чем плох ковшик? Глупости все это. Блажь... Не все ли равно, в чем вскипятить стакан воды.

Ираида Александровна и Вячеслав Матвеевич ждут возле конфорок. Смешно стоять вдвоем возле одной плиты, но кто это видит? Синхронно выключают газ, синхронно уносят все на стол, синхронно наливают каждый в свою чашку. С треском распахиваются два газетных разворота: «Советский спорт» – у В. М., «Вечерка» – у И. А. Вечер – как все.

Когда двое молчат, вокруг них (или вместо них?) начинают общаться вещи. Может, это какой-то закон сохранения связей? Сахарница, например, явно благоволит к Вячеславу Матвеевичу. Она прямо выталкивает из своего нутра ему на ложечку кусочки рафинада. А Ираида Александровна лезет в нее пальцами, потому что не может поймать ложечкой ни кусочка, а мстительная сахарница стискивает ей пальцы, и они, неуклюжие, толстые, шевелятся в пустом движении за толстым стеклом. Фу, как нелепо!.. Можно ей наконец спокойно выпить кофе в этом проклятом доме?

А стулья скрипят, а форточка сквозит... Счетчик сверчит... кран капает... Почему-то затрещала лампочка, и полиэтиленовый пакет запах вызывающе и противно.

И газеты у них – как нигде – на переднем рубеже борьбы. Они и засада, и баррикада. Прикрытие неожиданного нападения и средство защиты. Проигрыш наших хоккеистов в Праге, оказывается, может быть великолепным катализатором для гнева. Он подымается в В. М. молодой клокочущей силой и вот навылет, через две газеты, бах:

– Спрячь рейтузы... Женщина называется.

Дрогнули, сомкнулись колени. Кофе стал горьким. Ах, она забыла помешать сахар. Все забывает, все!.. Врачи говорят – естественный процесс, хотя, конечно, если соблюдать режим... Если беречь нервы... Убережешь... Даже дома не походишь как хочешь... О чем она больше всего думает после обеда до шести? Прийти домой и скинуть к чертовой матери французскую грацию. И влезть в старый байковый халатик с дырками на локтях... И вольно расставить колени, как делала когда-то ее мама на нижней приступочке высокого деревянного крыльца. Она опускала руки в цветастый, низко провисший подол, и никто никогда ей ничего не говорил. Не смел говорить. Сидела как хотела и сколько хотела.

А этот ведь знает, как ей трудно весь день в амуниции, с придавленным к позвоночнику животом... Нельзя иначе... Она – руководитель, у нее тридцать семь человек в подчинении. И все больше мужики. Он это прекрасно знает, и каждый раз одно и то же: к чему-нибудь домашнему прицепится.

Глаза пробежали по столбику некрологов.

– Петренко умер, – пробилась она сквозь две газеты. – Он на сколько лет моложе тебя?

В. М. ухмыльнулся. Две минуты он ожидал, что она выдаст ему эту новость из жизни Петренко. Сегодня звонили ребята из министерства, спрашивали, «примет ли он участие в венке». Он отправил с курьером пятерку в конверте, на котором было написано: «С праздником!» Петренко был моложе его на два месяца.

Слюнявя конверт, он сегодня подумал: значит, в принципе и я мог два месяца назад?... Эта мысль столько раз приходила потом к нему в течение дня, что в конце концов перестала пугать. Вот сейчас о смерти даже сладко подумалось. Все кончилось бы... Был бы покой... Не было бы ее.

Сейчас она должна пойти на попятную, потому что, что там ни говори, а она боится, что он умрет раньше. Она боится оставаться одна в их квартире ночью. Ее пугает стена. Когда он в командировке, она зовет ночевать свою бывшую сослуживицу, которую выпихнула на пенсию сразу же, как той исполнилось пятьдесят пять... Но та дура все равно приходит, чтоб сладко на даровщинку поесть... Осетринки, икры, сосисок без целлофана, кофе растворимого с конфетками «Вечерний звон». На рядовую пенсию таких ужинов не сварганишь.

Его командировки ей, старой обжоре, – подарок. Пусть молится стене, которой боится ее бывшая начальница.

– Я купила миноги. В холодильнике.

В. М. внутренне хихикает. Ой, как он ее знает. Подлизывается!

– Творог свежий. Сделать сырники?

Дрогнул в руках «Советский спорт» – весь ответ.

И. А. вздыхает, потом задумчиво выливает кофе из чашки обратно в кофейник.

– Жадная, – весело раздается за «Советским спортом». – Опять спивки сливаешь?

И. А. смотрит на него обиженно:

– Твое какое дело? Я сливаю, я и пью.

Но В. М. уже замер, он уже все сказал, больше она не дожидается ни слова. И. А. моет свою чашку, ставит ее в сушилку и уходит в ванную. В. М. прислушивается к тому, что она делает, как пустила воду, как загромыхала тазиком. Заперлась...

Он встает и достает из угла, где стоит ящик из-под цветного телевизора, «маленькую». Пьет прямо из горлышка. Жадно, с наслаждением. Раньше он делал это открыто. Ставил на стол. А еще раньше предлагал ей: «Хочешь?» Тонкие, выщипанные брови подпрыгивали у нее прямо к волосам. «Что?!» И заведется, заведется...

Однажды, когда они сцепились, он неожиданно посмотрел в зеркало. Такие оба страшные, что он от потрясения замолчал вообще суток на десять. А она в дом приволокла врача под видом сослуживца. Пришлось заговорить, чтоб отстала и перестала втягивать посторонних.

Но он тогда хорошо, от души помолчал! С тех пор употребляет индивидуально. С собой наедине.

И. А. стирает трусы, лифчик, думает: «Сейчас он пьет. Я видела в ящике бутылочку». Стряхивает мыльную пену, наклоняется и достает из-под ванны такую же. «В любом месте... Чтоб только руку протянуть...» Хочет вылить в раковину, потом машет рукой: «Черт с ним». Ставит бутылочку на место.

Знала бы она раньше, знала бы... Что знала бы? Пока жили в коммунальной квартире, все было в порядке. А в отдельной начал.

Говорят, все должно быть наоборот... У них же чем лучше – тем хуже... Но никто этого не знает, ни один человек! Она ненавидит женщин, которые плачутся и жалуются. Никто и ничто не заставит ее сказать о нем плохо. А знает ли он, чего это ей стоит? Как ей иногда хочется завопить! Не может. Не может она себе позволить такой роскоши...

Пусть все думают, что у них все как вначале. Начинали ведь хорошо, что там говорить. Было же у них полное понимание. Кто раньше приходил, тот и готовил. И стирали вместе – она трет, он выкручивает. Ей говорили: «Какой у вас муж!» Куда все это делось? Разве хорошее само по себе может превратиться в плохое? Для этого надо постараться! И уж он к этому ручки приложил.

Переехали в отдельную, и вдруг выяснилось: ничего ему не надо. Каждую принесенную вещь встречал с таким сарказмом, что можно подумать, она сирот обирала. Потом пользовался всем как миленький. Но начало всегда было такое! «Барахольщица!» Любил эту тему – «мне ничего не надо». Костюмы шил, как одолжение делал. Решила она тогда его внимание переключить на животный мир – купила собаку. Отдала потом ее даром, только чтоб взяли, – так он с собакой полюбили друг друга. «Эх ты!» – сказал он тогда ей. Что – эх она?

В. М. ест миноги руками, стоя возле холодильника. Лицо у него умиротворенное.

«Пью, – произносит он свой обычный внутренний монолог, – да, пью! А какое кому дело? Я после службы и на свои... Я не в подъезде, я дома...»

Застопорился привычный, убеждающий в правоте монолог. Опять вспомнился Петренко. Такой был весь правильный товарищ. Не пил, не курил, ничью секретаршу нигде ни разу не прижал... Интересно, обратят ребята внимание на его конверт? А плевать, даже если расценят... Он им не подчиняется.

Пусть хоть кому не понравится его конверт, его шутка... Сейчас ему стало казаться, что это на самом деле была не случайность – другого конверта просто под рукой не было, – а эдакая молодецкая придумка. Как с лихой открыточкой, которую они лет двадцать назад засунули этому тошнотворному праведнику Петренко в портфель. Тогда было дело! Кто же знал, что у Петренко хватит ума написать рапорт... Попсиховали они тогда все... Пришлось подставить

Шибаета. С ним и так все было ясно, он горел по другому делу, менял в третий раз подругу жизни. Та открыточка с его моральным обликом хорошо вязалась... И они все тогда вывернулись... Между прочим, Шибает не пропал. Пошел по коммунальному делу и теперь не то инспектирует, не то инструктирует кладбище. Приходил к ним, такой весь довольный пузырь, в бороде, баках... Красится и имеет уже четвертую подругу жизни... Предлагал каждому из них устроить по благу не Новодевичье, конечно, – это держи карман шире, – а Ваганьковское. Говорит, что ему ничего не стоит... Вот Петренко уже и понадобился такой благу. Ах, Петренко, Петренко! Зачем ты не пил?

Вот Есенин пил... А умерли оба... Разница та, что Петренко через неделю все забудут, а Есенина поют и поют... Был – вот совпадение! – на Ваганьковском, лично живые цветы у Есенина видел.

... В. М. даже не заметил, как вырвался к своей привычной теме: «Никого не касается. Ей, видите ли, не нравится... А что ей нравится? Интересный вопрос, если подумать. Что тебе нравится, дорогая? А мне плевать. Пью и пью... И точка...» И он призвал в свидетели своей правоты все кухонные предметы: кран, фыркнувший с неодобрительным согласием, сахарницу со сдвинутой крышкой, всегда ему преданную, лампочку, счетчик, холодильник... Стулья и настенную аптечку, и сквозящую форточку. Они, эти вещи, понимали его и проголосовали «за»: за право его выпить дома когда и сколько он хочет... Поддержка подбодрила.

«А к миногам желательнее хрен... – подумалось В. М. – Вообще вид у этой рыбы еще тот. Противная, сволочь... В воде, наверно, уха какая верткая! Стерва длинная, бесхребетная!»

Две широкие кровати арабской работы. В. М. и И. А. уже легли, предельно отодвинувшись к краям. У В. М. в руках «Футбол», у И. А. – детектив Юлиана Семенова.

«Если отправят на пенсию, открою в ванной газ – и конец, – думает И. А., глядя невидящими глазами на страницу. – Жадная, жадная... А ведь все ему останется...»

Это не мысли, это тени мыслей, когда-то родившихся, выросших, бывших в силе и сейчас уже ссохшихся к старости. Тени, которые существуют, напоминают о себе, но уже не задевают. Потому что, как ни удивительно, не задевает сама мысль о смерти. Ну и что? Будет

покой. Ну и что же – что вечный? Это хорошо! Умереть бы так: чтоб знать об этом дня за три... Чтоб успеть выбросить разный хлам и дома и на работе. У нее в столе черт знает что! Если случится insult или инфаркт, что о ней подумают? А убрать она боится, боится этого как побуждающего к последствиям приготовления. Побуждать специально не надо. Просто хочется верить, что будут ей дарованы за всю ее трудовую, хлопотную жизнь три дня для наведения порядка. Вот тогда бы три дня она не снимала бы грацию, ходила бы в капроне и нейлоне, сделала бы педикюр, причесалась бы сама, а не в парикмахерской, так, как когда-то в молодости. Для этого надо ночь поспать в железных бигудях. Никаких на это у нее сил нет в обычной жизни, а вот уродуют ее начесом и лаком: мол, что ей еще надо, старухе? Другие как-то умеют совладать с годами: и приуменьшают их, и не поддаются, и выглядят на сорок, а у нее ощущение: каждой ее клетке пятьдесят девять и ни секундой меньше. А в парикмахерской перед большим зеркалом, на фоне этих современных девочек, что тебя равнодушно стригут и красят, ей все сто восемнадцать... Поэтому если бы ей дали три дня, один бы из них – ради такого случая – она походила бы в бигудях и сделала бы прическу сама... Без начеса, без лака, чтоб волосы по плечам волной, а вверху две приподнятые заколками пряди... Ей когда-то так шло...

Конечно, он уже заметил, что она не листает страницы. Пусть! Она, честно говоря, не понимает этой сегодняшней манеры читать детективы. Глупое занятие! Эту книгу ей принес ее новый зам, взятый недавно с периферии. Тридцать девять лет. Сейчас он ей носит модные книжки, не уходит с работы, пока не уйдет она, а через год? Два? Через год, два ему станет тесно в отведенном кабинете, и он начнет всюду на нее капать... Возраст, будет говорить, возраст... Не те реакции, не та скорость мысли, а он, дескать, не обязан за свои, меньшие деньги подстраховывать ее, большие. Анна Берг, из соседнего отдела, два года назад съеденная таким образом, предупредила: «Только не вздумай его сделать своим любовником. Я проверила этот путь. Он короче к последней двери. Так знать мужику, насколько ты старая, ни в коем разе не надо... Он и это вспомнит, где надо...»

Ираида Александровна тогда задохнулась от гнева. Такое – ей! Она так и сказала: «Ты говоришь такое мне?» Анна закинула седую голову и захохотала басом, но не сказала ничего. Потому что ставку

консультанта, после того как ее выперли на пенсию, дала ей все-таки Ираида. Поэтому от хамства и намеков Анна предпочла воздержаться. А намек был на покойного Ивана Сергеевича. На ту военную пору, когда они только вернулись из эвакуации. Ивану Сергеевичу было тогда шестьдесят пять, а Ираиде двадцать пять... И ей надо было получить комнату, и Анна тогда сказала: «Тебя что, убудет?» Иван Сергеевич до самой смерти ей помогал по работе, и комнату выхлопотал, и поддержал, когда выдвигали на повышение... Хороший был старик, добрый, но с тех пор при слове «любовник» она почему-то всегда представляет одно: голые бледные ноги с желтыми несостригаемыми ногтями, хриплое, пугающее предсмертностью дыхание и сердечные капли на расстоянии вытянутой руки. Слава Богу, он очень скоро после войны умер, Иван Сергеевич. И она вела – совершенно неожиданно так получилось – его жену в процессии. Старушка доверчиво склоняла голову в черном гипюре ей на плечо.

Во всяком случае хохочущий Аннин бас надо запомнить. И если этот периферийный зам действительно захочет пойти путем зама Анны, то надо будет ему сказать: «Уважаемый! Не за ту меня принимаете! Я вам не Анна Берг...» Ну, про Анну, может, и не надо. Это и так все знают. Но «не за ту» надо будет сказать с двумя оттенками – металла и сатиры.

Он щелкнул выключателем. И сразу возникла стена. Желтая стена, которой нет в ее квартире. У них салатовые обои с золотистой полоской. Это все проклятая реклама напротив. Она светит прямо в окно, и, когда они гасят свет, стена из салатовой делается желтой. Ничего не помогает. Ни плотные шторы, ни жалюзи – все равно желтая. А тут еще передвигающиеся тени. Их дом внизу эстакады. Машины, прежде чем съехать вниз, находят их окно и оставляют летучий автограф на желтой стене. Всю ночь стена то корчится, то подмигивает, то пляшет... А В. М. категорически отказался передвигать кровати. Не поставишь же две арабские парные кровати по разным углам. Вот она и мучается с этой желтой улюлюкающей стеной.

Она проводит взглядом по комнате, по мерцающему в полутьме хрустальному в серванте, по дорогой чеканке на стенах, упирается взглядом в черноту трюмо. Внизу, на тумбочке, рядом с пудреницей стоит ее старая-старая фотография... Она не видит снимка, он далеко

от нее, но ей это и не нужно, она и так хорошо его помнит. Надо бы выбросить к чертовой матери эту фотку, каждый вечер одно и то же: будто встречается с собой молодой.

И. А. резко встает, идет на кухню. Холодильник не закрыт, минога свисает с тарелки. Она захлопывает дверцу громко, чтоб тот слышал. И тот услышал и засмеялся, натягивая на голову одеяло.

И. А. нервно роется в коробке с лекарствами. Вот он, седуксен. Глокает таблетку, без воды, по-птичьему запрокинув назад голову, и идет в комнату. Ложится и крепко зажмуривает глаза, чтоб не видеть стены...

* * *

И видит. Преотлично видит с закрытыми глазами.

... Тридцать девятый год. Она сидит на бревнышке на самом берегу реки. Да это уже и не берег. Это дно реки, которая летом мелеет до середины. На песке фотоаппарат.

Митя ходит вокруг нее на руках. Рубашка у него вылезла из штанов, и она хохочет, видя его худой, мальчишеский тощий живот. Она хохочет, чтобы скрыть жалость. Ведь жалость, как сказал Горький, унижает человека.

Митя резко становится на ноги и садится рядом.

– Когда у нас родится сын, он будет спортсменом. Я заставлю его и на руках ходить, и бегать, и плавать. Ясно?

Ираида смеется и качает головой:

– А если девочка?

– Да ну тебя! – возмущается Митя. – С чего бы это ей родиться? Я же сам сын! И у меня будет сын!

– Я-то не сын... – смущенно говорит Ираида.

– Я понятия не имею, кто ты, – отвечает Митя. – Вот ответь мне на вопрос: если завтра умирать, ты что будешь делать в оставшееся время?

– Я не хочу про такое думать.

– Подумай! – просит он. – Я, например, знаю что... Я пойду медленно-медленно... И буду все трогать руками – дома, собак, траву, камни... И буду пить прямо из речки... Буду спрашивать у людей все,

что захочу... Не пропущу ничего и никого мимо. И тогда я, наверное, насытюсь... Или насычусь? Тюсь или чусь?

Вот так он всегда: одним умеет перечеркнуть другое. Что, надо смеяться? Митя ей сказал когда-то: «У тебя нет юмора. Ни на грамм... Просто удивительно... Врожденный порок...» Она тогда ловко по молодости приспособилась: если ей что-то было неясно и почему-то неприятно, она определяла – это юмор. Потом, через многие, многие годы, она уже не стеснялась «врожденного порока». Если все смеялись, а ей было не смешно, она громко спрашивала:

– Это был юмор? Да? Мне это несмешно, уважаемые!

Нравилось, как выключался смех и неловко, будто цепляясь за что-то, снимались улыбки.

Но это было уже потом... А тогда, в русле обмелевшей реки, она была еще Радой. Только Митя мог придумать из ее странного, спаренного имени такое производное.

– Рада-лада, рада-лада, рада-ладушка моя. – Митя смотрит на ее колени, а потом целует их.

– Ты что? – Митя кажется ей порочным человеком.

– Что я такого сделал?

– Ты еще спрашиваешь?

– Почему я не могу поцеловать твое колено?

– Ты меня унижаешь.

– Почему когда в губы, то не унижаю? Чем колено хуже?

Ираида растерянно смотрит на него. Митя хохочет и становится на руки и снова идет вокруг нее, показывая всему миру свой незащищенный живот. Она учится в индустриальном институте, а Митя – в педагогическом.

– Жалость унижает человека? – тихо спрашивает Ираида.

Митя садится на песок, тяжело дышит. Зачем он столько ходит на руках?

– Я убежден, что нет... Я убежден, что лично Горький не мог так думать... Так мог думать его Сатин или кто другой, для которого жалость – это последняя милостыня... Поводок слепому... Но ведь можно иначе? Жалеть ребенка, старика... Мне вот тебя жалко...

– Это еще почему? Я ведь не слепая, не ребенок, не старуха...

– А тебе никогда меня не жалко?

– Нет, – говорит она.

– Странно, – отвечает он. – Странно... Тебя надо перевоспитывать.

... В августе 41-го он должен был приехать к ней в Москву. До войны такое случалось – из провинции могли направить после института в Москву. Вот ее и направили, а Митю институт обещал рекомендовать в Академию педагогических наук. Просили только за эту рекомендацию лето поработать в детдоме, заведующей которого приспичило в июне рожать, а Митю этот детдом знал, с первого курса туда ездил и с ребятишками тамошними возился.

Ну, понятно, никакого августа уже не было.

Митя погиб на пятый день войны, попав в бомбежку вместе с детдомовцами. Ираида этого не видела, но так много об этом думала, что, кажется, знает, как это было, как он прятал детишек, старался их укрыть собой.

... И. А. резко поворачивается на арабской кровати, так что нарушает демаркационную линию, и В. М. тотчас сдвигается еще больше к краю. Он почти навис над полом, только чтобы сохранить дистанцию...

И. А. поняла, она отползает назад, как собака, получившая пинка. «Что за лекарства теперь делают, выпьешь и все равно не спишь. Может, надо было две таблетки?»

... А ведь она знала, что августа не будет, чувствовала. Конечно, война в голову не приходила, просто той весной Митя привел на реку Лельку. И та перво-наперво сколола юбку между ног английской булавкой и пошла вместе с Митей на руках по речному песку. Болтались в синем небе смуглые суховатые ноги, а потом, задыхаясь от смеха, они подперли друг друга спинами и завопили какую-то песню. Ираида почувствовала тогда, как поднимается в ней неприятное чувство, которое на этот раз никакого отношения к юмору не имело. Ей тогда казалось, будто все в ней, как во время ремонта, сдвинули, а поставить на место забыли.

А те двое, став на колени друг перед другом («по-собачьи», – подумала Ираида), считались.

– Папин-доре, тринди-анди, яку-маку, фанди-анди...

И бегали взапуски. Избегавшись, Лелька легла на песок и, положив под голову первый попавшийся голыш, заговорила:

– Люди! А уже среда...

– Воскресенье, – поправила ее Ираида.

– Среда, – задумчиво сказала Лелька, – наша с вами жизненная среда. – Потом вскочила, снова встала по-собачьи и затрещала: – Вот послушайте! В среднем мы проживем семьдесят лет. Считайте: первые десять лет – понедельник, вторые – вторник, наши годы – среда... И так далее. А умрем мы в воскресенье вечером.

– Ух ты! – восхитился Митя. – Какая железная схема! Батюшки! Уже среда! Уже полпути, а мы все в песочек играем.

Он всерьез расстроился, ушел от них, сел на дырявую лодку, грыз ногти и думал.

А Ираиде все это показалось глупостью. Жизнь – это жизнь... Прожить ее нужно так, как сказано в цитате, а неделя есть неделя... И нечего сравнивать. И почему семьдесят? Это даже много, пятьдесят вполне хватит.

Она боялась Лельки. Боялась ее веселой, разрушающей разумную логику болтовни.

– Ешьте больше семечек, – трещала та. – Во-первых, сытно, во-вторых, увлекательно ждуть, вдруг в тебе прорастет подсолнух? Мить, а Мить? А ты случайно уже не подсолнух? Ты все время вертишь физиономию к солнцу... Ирка-идка! – тараторила она. – А ты знаешь кто? Ты – сберкасса. Ты удобна, надежна и выгодна.

– Почему выгодна? – спрашивает Ираида. Выгодна, выгодный – плохие слова, обидные. Не советские.

– Потому что удобна и надежна.

– А ты, болтушка, кто? – спрашивает Митя.

– Я? – Лелька щурит блестящий карий глаз. – Я, по правде говоря, чернильница. Столько во мне всяких разных историй – жуть, кто бы меня от них избавил?

Ираиде виделся в этом намек на Митю. Он, мол, должен избавить. Поднималось нехорошее чувство, которое она ни за что не хотела считать ревностью. Просто предчувствие, что от Лельки всего можно ожидать.

И все это подтвердилось! Потом, потом, через много лет попалась ей в командировке книжонка, тоненькая, без переплета, но с портретиком автора. Лелька! Такой же прищуренный глаз и улыбка от уха до уха. «Памяти Мити» было написано вверху. И целый рассказ о

нем. Как он ходил на руках по речному песку, как любил реку, какой был «тонкий тянущийся подсолнух» и «как дожил всего „до среды“». Так было написано, будто они только вдвоем тогда ходили по берегу, будто никогда ее, Ираиды, не было с ними, будто Митя не целовал ей, Раде-ладушке, колена, будто не собирался в августе в Москву, будто не хотел сына от нее, а не от этой „чернильницы“.

Из книжки она узнала, что в том детдоме поставили Митин бюст... Несколько лет назад, когда снова была недалеко в командировке, ее свозили в тот детдом на облисполкомовской машине. Митин бюст похож на Митю не был. То есть ничего общего. Заведующая детдомом, испугавшись машины начальства, все норвила затащить Ираиду в столовую и накормить обедом. И все просила на что-то не обращать внимания. Самое смешное, что это была та самая заведующая, которая рожала в июне сорок первого... Она рассказывала, как уехала к маме в Элисту и как там осталась и потому спаслась и ребенка выкормила, а вернулась в детдом уже после войны. Пришлось все начинать сначала, потому что те дети и работники погибли, зато было много новых, и ей пришлось – будь здоров... А сын ее, ребенок июня сорок первого, сейчас в Ленинграде, кандидат технических наук, кооператив в Гатчине построил.

Возвращаясь, Ираида Александровна думала: зря не пообедала в детдоме. И вдруг возникло в ней старое, забытое раздражение против Мити, который заставлял ее всегда поступать не так, как нужно и как она сама хотела, а наоборот. Тогда, в юности, он ее таскал на речку, а ведь часто было и мокро и холодно. Заставлял общаться с этой придурочной Лелькой... Вот так, если представить, что не было войны, то вообще неизвестно, как бы у нее сложилась жизнь... Были бы у нее сегодняшние уверенность, и сила, и положение?...

Вячеслав – тяжелый человек, но в жизни он ей не помеха...

Она тогда, после детдома, остановила машину возле дорожной забегаловки и гордо прошла в «стекляшку». Мужики-шоферы посматривали на нее с интересом: что, мол, за баба ездит тут на «Волге»? Она потребовала, чтобы вилку и ложку, которые лежали на общем подносе, ей вымыли и вытерли. И то, что ей подчинились без слов, было приятно, и она пошла дальше: потребовала чистое полотенце и чтоб в окрошку не клали яичко, а «побольше петрушечки, петрушечки». Она запила яблочным компотом эту поездку в детдом и

эту книжку, которую написала Лелька, писательница местного значения. Определение понравилось, ибо оно вскрывало суть. Лелька не сделала ничего масштабного. Она же фигура в министерстве... И эта «Волга», на которую с вожделием смотрела заведующая детдомом, такая в ее жизни мелочь...

До самой ночи носила она в себе тогда торжествующую, уверенную силу. И видать, надорвалась. Проснулась среди ночи, рот весь полон чем-то соленым, горьким, а грудь обхвачена обручем. «Окрошка!» – подумала она и стала нашаривать на гостиничной тумбочке сумку – соду взяла? – и пока искала, глотнула соленый комок. Боже, да это же слезы! Все лицо залито, вся шея, даже в ушах булькает. И текут и текут, будто где-то в ней что-то сломалось, какая-то труба в коммуникации, и теперь вот заливает ее, заливает... И было ощущение: зальет. Странное дело – ей умереть от слез. Она подняла подушку и легла высоко, давая возможность свободно истекать слезному потоку, и думала: а вдруг там что-то все-таки есть? Тогда она встретится с Митей и скажет: «Ты знаешь, я умерла от слез». «А чего ты плакала?» – спросит он. «Ты совсем не похож на своем бюсте. Я же знаю, помню, какой ты...» – «Это самое главное, чтобы ты помнила, – скажет он. – Подумаешь, бюст... Ведь глина...»

И тут ей совсем стало плохо, но она, опытная командированная, знала: бесполезно нажимать кнопки на панели, они не работают и в люксе. Значит, конец? Но как ни сладко было умереть, думая о Мите, то, что осталось в ней незатопленным слезами, нашарило-таки полиэтиленовый пакетик с лекарствами. Колюче лег под язык нитроглицерин. Шелест пакета как по волшебству замкнул слезный поток, а потом расслабился и обруч. Она встала, походила туда-сюда, вышла на балкон. В воздухе были растворены покой и расслабленность. Чуть-чуть пахло тинной. Смутно захотелось пойти на реку и посидеть в обмелевшем русле, но она уже не плакала, она уже была почти самой собой, поэтому вызванное слабым речным запахом желание подавить и раздавить оказалось нетрудно.

– Ни к черту нервы, – сказала она вслух. – Надо помассажироваться. Попрошу утренние часы, до работы. Ну встану на час пораньше... Подумаешь...

Мокрую подушку она сняла с постели, а тубик нитроглицерина положила рядом. И пришел сон, глубокий, без сновидений. И

проснулась она сильной.

«Спать, спать», – приказывает себе и сейчас И. А. Скрипнули под ней арабские пружины, и она стала по-хозяйски устраиваться в постели, ногой пиная демаркационную линию, потому что разгневалась в ней та главная ее сила, что держала ее выше всех: и выше В. М., и выше Анны Берг, и выше нового зама («соплек стилижный!»), и было приятно ощущать в себе эту силу и уже не бояться подмигивающей стены, и она знала, что сейчас уснет, и покойно, удовлетворенно вздохнула.

Как он ее знал, как знал! Он уже ждал вот этот ее вздох – вздох властной, сильной бабы, которая, как бы ни устала, как бы ни ждала и ни боялась неприятностей на работе и дома, как бы ни страдала бессонницей от этой проклятой желтой стены, в конце концов выходила из всего победительницей, и эту женщину, что заняла сейчас большую часть постели, именно эту женщину он втайне уважал.

Он даже готов был с ней сейчас поговорить и сказать, что, в сущности, передвинуть кровати можно, что зря она думает, что он ослом уперся, вовсе нет... И вообще, скажет он, не надо ей носить узкую грацию. Передавишь какой-нибудь кровеносный сосуд и загремишь в больницу. И он повернулся на спину, размягченный к добру, и увидел стену – действительно желтую! Он хотел сказать это вслух и предложить поискать финскую пластинчатую штору, которую видел в новой поликлинике; в ней планочки смыкаются абсолютно плотно, никаких пазов и просветов. Но что-то сбивало его с толку, что-то мешало так покойно и умиротворенно поговорить с ней. Это что-то колобродило, тревожило и тоже – о проклятие! – было связано со стеной. Она была на что-то похожа... На что? Он натянул одеяло повыше, потому что понял, узнал, на что... И тонкая, как для самых изящных инъекций, игла вошла в сердце и встала, встала в самой жесткой позиции: мучая, не убить.

В. М. не спит, он лежит с открытыми глазами и смотрит, как пляшут на стене ночные блики, делая стену размыто-грязной. Похожей на ту, другую...

... Стену коммунального коридора со следами шпаклевки, затирки. Настя, в грязном халате, в громоздких резиновых сапогах, в старушечьей косынке, с глубочайшим удовлетворением ее разглядывает. За ее спиной потрясенные жильцы квартиры.

– Теперь пара пустяков, – говорит Настя. – Побелка. Это я за два часа сделаю. Вечером окно вымою, и будет у вас коридор-конфетка, а не сарай...

– Ремонт еще до войны делали, – говорит старичок сосед. – До финской. Целая бригада маляров и штукатуров тут трудилась.

– Бригада? – Настя всплескивает руками. – Вот смех!

– А как на это посмотрит ваш муж? – Дама в махровом банном халате улыбается иронически.

– А что тут смотреть? Ему, что ли, в чистоте будет хуже?

– Он ведь тут человек временный, квартирант.

– Я считаю, что и временно надо жить хорошо. – Настя подвигает стол и лихо на него вскакивает.

Он помнит: тогда он сначала не узнал ее и хотел обойти стол, чтоб не испачкаться. Настя засмеялась и поднесла прямо к его носу щетку для побелки. Он застыл, боясь ткнуться в пряно пахнущую мелом, водой и чистотой щетину.

– Ты что делаешь?

– Грязь вывожу. Славик, смех! Никто в квартире белить не может! А мне это пара пустяков. Что мне стоит коридор и кухню? Я дома избу белю, и внутри и снаружи... А у вас тут как в кузне... Вроде и война не кончилась... Ты смотри, как я все зашпаклевала... А в мышинные норы я битого стекла насыпала, мне ребята во дворе три зеленые бутылки побили.

Настя приплясывает на столе от удовольствия. Вячеслав бледнеет. Дама в махровом халате говорит:

– Мы все вашу жену отговаривали. Объясняли, что вы тут не постоянный жилец.

– Представляешь? – Настя хохочет.

– Мы готовы были заплатить. С каждой семьи от состава... Но ваша жена...

– Представляешь? – Настя призывает Вячеслава разделить ее возмущение и недоумение. – Вроде я за деньги. Вроде мне трудно.

Вроде я по-человечески не могу... Ты ж тут живешь? Тебе ж по этому коридору ходить, а тут паутина за брови цеплялась.

– Ремонт делали до войны. До финской. Целая бригада работала. – Это снова поясняет старичок.

– Представляешь? – Настя в восторге.

– Иди в комнату. – Вячеслав открывает дверь. Он вспотел. Ему стыдно.

Настя прыгает со стола, подмигивает всем и идет за ним, стараясь не задеть никого грязным халатом.

В комнате Вячеслав уже не выдерживает:

– Ты что, в домработницы нанялась? В прислуги? Ты чего меня позоришь? Я в академии учусь, а ты мало того, что учиться не хочешь, так еще тут за всякими мыть будешь?

В коридоре все слышно. Наверное, дама развела руками:

– Что и требовалось доказать. И он, поверьте мне, прав! Прав, прав, прав... Женщина должна соответствовать мужчине по положению, а тут явный мезальянс...

– Она просто добрая женщина, увидела грязь, беспорядок... – Это старичок.

– Я их тоже видела, – возмущается дама, – ну и что?

В комнате:

– Я как думал: кончу академию – ты пойдешь учиться, чтоб разницы между нами не было. Я планировал обговорить с тобой это. А у тебя куда мысли повернуты? Ты только приехала, стала тут всех учить котлеты жарить. Слова умного не сказала. А теперь совсем конец света... Белить начала... Ты соображаешь? Это коммунальная квартира, тут очередность. Каждый понимает, что за другого никто в наше время не работает. Тут один из помещиков, из бывших, а тоже в свою очередь моет. Плохо моет, не тщательно, но никому и в голову не придет за него делать. Это только начни – и опять одни будут работать, другие хлеб есть...

– Я же молодая и привычная. Мне же нетрудно, Слава...

– Посмотри на себя! Уборщица! Чумичка! Люди в Москву в театры приезжают, в музеи. Смотри, смотри... – Вячеслав вытаскивает из карманов билеты. – Вот на «Учителя танцев», Зельдин играет. А это на «Пиковую даму». Нэлепп...

– Что?

– Певец такой! – кричит Вячеслав. – Ты, может, и унитаз им чистить будешь?

– Буду! – кричит Настя. Она хлопает дверью и уходит в коридор. На стол она взбирается уже не так легко, но вот взобралась, потопала по нему сапогами и замахала щеткой.

– Так и мужа потерять можно. – Это дама вещает из дверного проема.

– Одного потеряем, другого найдем, – отвечает Настя с вызовом.

– О! – удивляется дама. – Какая вы!

– У! – отвечает Настя. – Такая!

Вячеслав слышит этот разговор. Он начинает заталкивать в чемоданчик Настины вещи. Настя прислушивается к шуму в комнате, понимает, в чем дело, и с трудом сдерживает слезы.

Старичок в галстуке, с цепочкой карманных часов, волосы мокро приглажены, выходит в коридор.

– Я объясню вашему мужу разницу между помощью и прислуживанием. Он этого не понимает, потому что никогда не имел слуг. А я, Настя, из дворян.

Настя смотрит на него с ужасом.

Дама:

– Бросьте вы ваши штучки. Что могут значить в наше время аргументы бывшего помещика?

Вячеслав выходит из комнаты. Идет к выходу. Настя, замерев, смотрит на него.

– Вы, Вячеслав Матвеевич... – неуверенно говорит старичок.

– Идите все к черту...

– Съели? – Дама в проеме иронически улыбается.

... В. М. встает с кровати и идет на кухню. Закуривает у открытой форточки. Ветер шевелит редкие седые волосы, он смотрит на ночной город и видит, как уезжала Настя. Шла к ночному поезду одна, а он шел сзади. До сих пор не поймет, зачем шел. Убедиться, что уехала? Или хотелось на нее насмотреться в последний раз? Он ей сказал:

– Я просто не представляю, как я могу жить с человеком, который меня позорит.

– Я тоже не представляю, – сказала она.

Уходил поезд. Он близко к нему не подошел, боялся, что она его увидит, но, когда вагоны тронулись – странное дело! – ее лицо виделось ему в каждом окне. Ну прямо-таки в каждом.

Хотелось так: рукой остановить состав. Была уверенность – ничего не стоит это сделать; у него мощные руки, и если он возьмет последний вагон за поручни, то поезд встанет как вкопанный. И тогда он скажет Насте, тысячам Насть, которые сейчас уезжают:

– Извините, Настя, – между прочим, запомните: это слово пишется через «и», – если человек карабкается в гору, то вниз его стащить очень даже просто. Но я этого не хочу. Я не хочу снова говорить «магазин» и «будуть» и «хочуть» вместо «будут» и «хотят». Я пять лет повторял эти слова на ночь. А вы, Настя, меня опять назад, в навоз или перегной, как там. Короче, в услужение бывшему помещику и всем подобным. Я же в люди выбиваюсь, Настя... Это вы можете понять?

И отпустил бы он поручни. Дуй! Пусть увозит поезд всех этих белящих, скребущих, пекущих, варящих Насть. Разошлись пути-дорожки, вам – на север, мне – на юг.

На другой день, вечером, он пошел в кино. Куча билетов у него тогда была. Встретил Ираиду. Подошла вся такая то ли неуверенная, то ли потерянная. В общем, к его настроению – в масть.

– Вам нужен билет? У меня лишний...

А когда вернулся домой – новость.

– Сосед ваш умер...

Старичок лежал строго и важно. Суставы пальцев белели на черном пиджаке. Дама прикладывала платок к глазам:

– Из бывших. У него до революции имение было под Москвой.

– Все умрем. И бывшие и настоящие, – отрезал Вячеслав и направился в свою комнату.

Дама просочилась за ним:

– Слушайте, Вячеслав, горе горем. А жизнь – жизнью. Вы могли бы похлопотать себе его комнату. Я ведь слышала, вас оставляют в Москве.

Оставляли оставляли – теоретически. А практически спросили: «А что, московской невесты у тебя нет, чтоб уж без сучка и задоринки?»

Про Настю в академии не знали. Они еще записаны не были. А после истории с побелкой он вообще стал чувствовать себя

свободным.

Это пришло единым, неделимым обстоятельством – смерть старичка и оставшаяся после него комната, возможность получить ее и Ираида, появившаяся как судьба, ровненько в тот момент, когда у него остались лишние билеты.

Ираида не нравилась ему тогда. В ней еще не было силы, за которую ее можно было уважать. После войны все были худые, а у нее на почве авитаминоза выпадали зубы. Она вечно прикрывала рот платочком, потому что ей долго и неудачно ставили мосты. А когда поставили, она сразу воспрянула, даже ростом выше стала, будто что-то перекусила в себе новой челюстью. В общем, он догадывался что!.. Видимо, какую-то любовную историю. Из мимолетных разговоров даже сделал вывод: не подходящий по анкетным данным попался мужчина. Что-что, а это он понять мог. Они в те дни, не сговариваясь, играли по одним нотам, и теперь, когда она улыбалась, не боясь показывать зубы, он даже с удовольствием появлялся с ней в разных зрелищных местах – ему импонировали ее сдержанная строгость и напрочь подавленное бабство, которого в Насте было сверх головы.

А тут у Ираиды еще умер начальник. Видимо, он ее очень допекал своими советами, у Вячеслава у самого был такой. Увидел: она обрадовалась! А обрадовавшись, застеснялась, все-таки нехорошо, человек умер. И очень стала суетиться на похоронах. Ему понравилось, что она застеснялась этой своей радости. С хорошей стороны это ее характеризовало.

Он поверил в счастье с такой женщиной. Он даже думал: «Я умный. Я знаю, чего хочу. Я могу поворачивать обстоятельства к себе лицом. Я разбираюсь в людях...» Он написал Ираиде на фотографии: «Любимой...» Выводил буквы, будто выжигал их в своем сердце на тех самых местах, где стихийно, вне разума, могла проступить Настя. И радовался тому, что подавлял, побеждал проступающее. «Человек – хозяин судьбы». Эти слова он записал на обложке коленкоровой тетради. А ниже – «Через тернии к звездам».

* * *

– Передвинем кровати, – сказал он твердо, – передвинем. Ляжем головами к этой проклятой стене.

Но она молчала. Он немного обиделся: не слышит, что ли? А потом понял: она уснула. И то, что уснула, не дождавшись его слов, а главное, даже будто и не нуждаясь в них, снова вызвало в нем раздражение. Жалуется на бессонницу, а ведь спит! А он не жалуется, он никому никогда не жалуется, а уснуть не может! И так всегда. Что бы у него ни случилось. Пока погоны носил, сколько было всякого. Где-то что-то стряется, ты за тысячу километров и ни сном ни духом, а отвечай, как положено. И отвечал. Сейчас нет погон и нет той работы. Он стал на старости лет начальником бумажек и скрепок. Но и здесь он свои обязанности выполняет со всем тщанием. Потому что – никогда! ни копейки! – он не смог бы получить ни за что. Он не может понять тех нынешних, которые любят деньги получать, а дело не делать...

Потянуло встать и еще глотнуть, и такое милое душе предстоящее действие так взбодрило, что он впрыгнул, как молодой, прямо в тапочки, и она услышала, проснулась.

Смотрела, как шустро он пошел из комнаты, и стала предполагать, к какой из бутылочек он пойдет – кухонной, туалетной или ванной? Она думала о том, что когда-нибудь у него будет инфаркт. Что ей еще предстоит вытаскивать его «оттуда» и что она будет делать это с присущей ей добросовестностью и вытащит.

Не было страха, ужаса перед болезнью, была уверенность в своих возможностях и силе. Как она подымет на ноги всю профессию, как обеспечит отдельную палату и сиделку, как сумеет организовать любые лекарства из любой заграницы. Странно устроена жизнь! Вот Мите она ничем не могла помочь.

Теоретически можно представить такое: она загоразивает его своим телом. Ну погибли бы оба. Есть безнадежные случаи. Есть... И они не только на войне. В конце концов, тогда, в этой истории с Валентином Петровичем... Она знала, насколько это бессмысленно и опасно. И быстро решила, ей тогда одного намека хватило.

Как-то в Кисловодске ей показалось, что она встретила Валентина Петровича. Он стоял и смотрел на воду. Не очень длинное у них было знакомство, а вот эту его страсть смотреть на воду запомнила. Она прикрылась зонтиком и стала наблюдать: он или все-таки не он? Не

располнел – такой же тощий... Не полысел – такой же шевелюристый, хоть теперь и белый. Такой же с виду беззащитный, но... Вот из-за «но» она в конце концов решила, что ошиблась и что это был не Валентин Петрович. Первое «но». На нем был кримпленовый костюм, а они тогда только-только появлялись. Вещь была дорогая и могла быть только привезенной. Второе «но». На лацкане у него был депутатский значок. Тут уже концы с концами не сходились. Третье «но» было молодой и красивой женщиной, которая возникла рядом и провела пальцами по его щеке. Провела, и все. Он только чуть кивнул, мол, вижу, что ты тут, и продолжал смотреть на воду, а она замерла рядом. А потом стала смотреть на ее, Ираидин, зонтик, потому что у нее был точно такой же. Японский. Складывающийся.

Эти три «но» заставили отвергнуть мысль, что это был Валентин Петрович. У Валентина Петровича не могло быть кримпленового костюма, депутатского значка и женщины в таком возрасте. «Не он!» – сказала она себе твердо и ушла, подавляя сосущее ощущение забытой, но вспомнившейся неприятности.

... Уже после войны ей дали – благодаря Ивану Сергеевичу – крохотную комнатку, девять метров. Рай. Хоромы царские. Узкое окно глядело прямо на церковную башенку. Это поначалу смущало. Посмотришь в окно, и первое, что видишь, – крест. Но потом она приучила себя смотреть на крест свысока, презрительно и в комнату влюбилась без памяти. Ничего не пугало. Кухня на восемь хозяек, очередь в туалет по утрам, дежурные субботы, когда содой и щеткой приходилось мыть громадный коридор. Другие, когда мыли, стонали, дескать, хлама много, велосипеды, чемоданы, ящики, а ей хоть бы что. Молодая, сильная, мыла и терла паркет, чистила выжелтевшую ванну, ни с кем в квартире не ссорилась. Из-за чего ссориться-то?

А потом поселился в квартире Валентин Петрович. Вернее, вернулся в свою комнату, до времени закрытую и опечатанную. Вместе с двумя ребятами, которых забрал от бабушки. Мальчик и девочка, семь и девять лет. Сам он вернулся после плена, жена его во время войны умерла, и вся квартира жалела его и ребятшек.

Как хорошо помнится эта утренняя очередь в ванную, в уборную. Мальчик и девочка, заспанные, идут прямо куда надо, никто не возражает. На кухне каждый старается налить им из своего чайника. И она тоже.

Валентин Петрович в кухне – сплошной цирк.

«Разрешите ваши спички. Я свои уронил в кастрюлю...»

«Извините меня, Ольга Ивановна, я опять обмишурился с маслом... Не дадите ложечку?...»

«Макароны у меня пригорели... Скажите, это безнадежно или как-то можно спасти?...»

К Ираиде он обращался чаще всего, она подкармливала ребят, даже стирала с них, когда бралась за свое. Вечером Валентин Петрович приходил к ней просто так.

– Ида (он называл ее так), спасибо вам за все. Вы так выстирали Наташке платье, что я его не узнал. На нем, оказывается, и цветочки, и ягоды.

– Ерунда какая.

Ираида смущенно распахивает по углам вещи, на ее взгляд, интимные. Ей, например, кажется, что и пудреницу, и помаду видеть мужчине не полагается, и она прячет их под вышитую дорожку на тумбочке. И то, что на подушке у нее накидка ришелье, тоже смущает, будто она мешчанка какая. И она кладет на накидку географическую карту. А тут на столе лампочка с чулком, не успела доштопать. Тоже надо спрятать, а на подоконнике в ситцевой косыночке тряпочки, на которые она накручивает волосы на ночь. И она все прячет, все растыкивает, а Валентин Петрович – олух царя небесного – хочет ей помочь, он ведь ей так благодарен, она карту на ришелье, а он снимает, порядок так порядок. Не понимает, что порядок – когда все строго. Это мама с ее поделками, вышивками... Все шлет, шлет...

Черная строгая шляпа с вуалеткой.

– Идочка, вам очень к лицу эта шляпа. Давайте я вам поправлю. – Немного загнул поля, вуалетку присобрал. Откуда в нем это?

В воскресенье они все тянут ее гулять. Идут вдоль Москвы-реки смотреть, как выскакивает на метромост поезд. Каждый раз неожиданно и радостно. Этот кусок открытого метро очень нравится Ираиде, ее умиляет и успокаивает определенность и четкость движения. А Валентин Петрович отворачивается, уходит от моста подальше. Ему больше нравится смотреть на воду. «Она меня завораживает». Так они и гуляют. Она смотрит на метро, он – на воду, а дети бегают по набережной, бросаются камешками.

Никогда она не думала, что со стороны они – семья. Но однажды старушка:

– Вы, мамаша, не туда смотрите. Дети у вас глаза друг другу выбьют.

Это было потрясающее открытие: они – семья. Ей даже стало казаться: она родила этих детей. Девочку рожала легко, а вот мальчик шел ножками. Кислородную подушку не убирали. Подумалось: со временем они поменяют квартиру, и все так и будут считать. Девочка – белесая, в нее. И ноги у нее, судя по всему, будут большие, не менее тридцать восьмого размера. Ведь есть же такая пословица: не было ни гроша, да вдруг алтын. Вот и у нее – сразу семья, полный комплект. «Да, да, мальчик шел ножками... Еле спасли и его и меня. Но, слава Богу, очень опытная оказалась акушерка. Как же ее звали? Неблагодарная память. Забыла!»

Старушка смотрит осуждающе. На ней вишневое пальто и довоенные белые фетровые боты со сбитыми каблуками. В руках авоська, из дырок торчат морковины, как шипы у мины. Домой Ираида ведет детей за руки, а Валентин Петрович шлепает сзади.

Шляпа с вуалеткой сползла на затылок. Ираида встряхивает головой, но от этого она совсем сваливается. Мальчик начинает плакать.

– Ты что?

– Лед жалко.

– Почему?

– Он растает...

– Ну и что?

– Но ведь он лед. Ему хочется быть льдом, а не водой. Льдом, льдом...

Валентин Петрович обнимает его, объясняет:

– Ты ведь тоже растешь, меняешься... Сначала мальчик, потом юноша... Но все равно это ты. Вода и лед – это то же самое.

– Нет, – кричит, – лед хочет быть льдом!

Ираида смущена. Странные дети, откуда такое? Ей никогда ничего подобного не приходило в голову.

Пьют чай у нее в комнате. Она делает бутерброды с повидлом, бежит на кухню за чайником.

И вот тогда в коридоре ее перехватывает соседка, Ольга Ивановна.

– Идка, не дури!

– Ты о чем?

– Ты знаешь, он откуда? За плен ему вовек не отмыться. И на тебя тень упадет... Ты в силуходишь...

– Да я ни о чем таком и не думала.

– А ты думай... Он в тебя, как вша в кожух, вцепился...

– Ты не права...

– Он, Ираида, клейменный. Ты это знай. И дети у него клейменные на всю жизнь. И ты не связывайся.

Ираида входит с чайником в комнату. Мальчик бросается ей помогать. Валентин Петрович смотрит с нежностью. Действительно, что это они в нее вцепились?

Утром девочка стучит в дверь:

– Тетя Ида, тетя Ида! Идите в ванную, я вам очередь заняла.

Ираида направилась было к двери и вдруг замерла. Слышит возню, это прибежал мальчик, заглядывает в замочную скважину.

– Ушла, – говорит разочарованно.

Голос Валентина Петровича: «В комнату! В комнату!» Голос Ольги Ивановны: «Что вы тут крутитесь, дети?!» Потом все стихает. Ираида умывается из графина, уходит так, чтоб никто ее не заметил.

Вечером расходятся с работы. Вынимают из-за окна свертки, заталкивают в сумки, пудрят носы. Ираида делает вид, что у нее еще дела.

– Ты что, остаешься?

– Я как получила комнату, – рассказывает Зина, что сидит напротив Ираиды, – так не могла дожидаться, когда рабочий день кончится. Сажу как на иголках. И все представляю, как приду, дверь свою закрою, пояс с резинками сниму и буду ходить росомхой.

– У тебя сколько соседей?

– Мне тогда было все равно. Дверь закрою – и росомхой.

– А у тебя, Ираида, соседи как?

Она пожимает плечами.

Это спрашивает их ядовитая машинистка. Почему-то она боится, что все выйдут замуж раньше нее. Она всех подбивает на разговор о замужестве и всех отговаривает. И вот тогда тоже:

– Ты только осторожнее, Ираида. Сейчас в Москве немало мужиков всяких... Ищут дур...

– Это ты про меня? – Ираида поднимает брови.

Замуж ей хотелось. Хотелось по трем причинам. Во-первых, это дало бы какое-то основание порвать с Иваном Сергеевичем. Старик бы побоялся иметь дело с замужней женщиной. Он был человек с принципами. «Мне хорошо с вами, Ираидочка, – говорил он. – Это подарок судьбы, что вы – вольная птица. Я ведь отдаю себе отчет, что вы – последнее женское тело в моей жизни. И приятно сознавать, что тело это красивое и теплое». И он проводил сухой ладонью по ее животу, по бедрам и назад, к самой шее, и она боялась, что он нащупает у нее в горле клокочущий комок отвращения, который она постоянно, до боли в челюстях, сглатывала. Так вот. Замуж – это спасение от Ивана Сергеевича.

Во-вторых, хотелось приехать к родителям с мужем. Видела: идут они вдвоем, оба высокие, полные (да! да! полные. Это сейчас идиотская мода на мослы. Тогда, сразу после войны, красивой считалась только полная, цветущая женщина). Идут полные, высокие, оба в габардиновых серых плащах, оба в шляпах: он – в зеленой, велюровой, она – в черной, маленькой, с муаровой черной лентой, завязанной сзади бантом. У них два кожаных чемодана в ремнях, а у нее еще большая, с щелкающим замком сумка. И вся улица провожает их взглядом, а в воротах ждет отец, гордый своей Получившей Высшее Образование и Работающей в Самой Москве Дочерью. Он стоит, приподняв подбородок кверху, чтоб не выплескать застывшие в уголках глаз блестящие слезинки счастья. У кого еще такая умная дочь? Кто из соседей пьет чай с московским печеньем? А?! То-то! Ради этого, ради отца и матери, ради их радости хотелось замуж. И это во-вторых.

В-третьих, было бабье. После сухой блуждающей руки Ивана Сергеевича всегда думалось: что же все-таки на самом деле эти отношения? Есть хоть доля правды в том, что о них пишут и рассказывают? Конечно, этот вопрос можно было выяснить и без замужества, в любом доме отдыха и на любой туристской базе, но так не хотелось... Больше того, была уверенность, что так будет все плохо. Надо было иначе. Капитально.

Но с претендентами после войны было негусто...

... Оказывается, уже все ушли. Звонит телефон. Она берет трубку. Слышит детские голоса. Это девочка и мальчик.

– Позовите, пожалуйста, тетю Иду...

Она тогда трубку положила осторожно-осторожно...

Первое время – глубочайшее самоуважение. Как она ловко вынырнула! Валентин Петрович скоро из Москвы уехал. Не вникала, куда, к кому. В конце концов не она рожала этих девочку и мальчика. Мало ли что показалось той старухе в сбитых фетровых ботах. Кажется – перекрестись. Да и как бы она явилась с этим полным комплектом к отцу? Вдруг выяснилось, что габардиновый плащ на Валентине Петровиче не будет иметь вида, что их проход по родной улице покажется соседям цыганским шествием, а не торжественным приездом. Скажут просто: никто не брал, потому и вышла на детей. И это она, Умная, Получившая Высшее Образование и Работающая в Самой Москве! Ведь выйти «на детей» всегда было уделом дурнушек, перестарок или девушек с историями. Она же, она же, она же!.. На работе у нее полный блеск и самые радужные перспективы, если самой себе, конечно, не навредить. У нее есть свои идеи, она их бережет до того момента, когда сама сможет их высказать. И выскажет! Просто ужас ее охватил, когда представила: из-за Валентина Петровича у нее могло все сорваться, вся перспектива. И себе плохо, и делу – идеи не воплотит, и отца оставит без радости стоять в воротах с гордо поднятым подбородком, чтоб не скатились ненароком две сверкающие гордые слезинки. За нее. За Дочь. Ах, Валентин Петрович, Валентин Петрович, разбирайтесь со своей жизнью сами. Что я вам, в конце концов, – спасательный круг? И такой она в себе вырастила гнев, что все прошлые мысли стали ей казаться мыслями женщины, которая чудом спаслась...

А потом возле кинотеатра «Повторный» высокий военный подошел и спросил: «Вам билет не нужен?»

Она купила у него билет. Все было как в мечте. Стоял отец у ворот, а они шли по улице с мужем, неся два кожаных чемодана в ремнях. Правда, было лето и не было на них габардиновых плащей. Но зато на ней был шелковый пыльник, а на Вячеславе темно-синий бостоновый костюм и зефирная рубашка в полоску. После обеда отец сказал ей, что муж у нее представительный и имя у него хорошее. Как у Молотова. А мать пошла по соседям в обновке: вигоневой коричневой кофточке с черной окантовочкой по воротнику и

крепдешиновом цветастом платочке в тон. По желтому фону рассыпались коричневые цветы на тонких черных стебельках.

Ах, как было хорошо тогда! А главное – все было основательно. Она очень любила это слово. Основательный человек – высшая аттестация. Слово, которое в фундамент положить можно. Основа. Основание. Как хорошо было сидеть рядом с Вячеславом в театре или гостях. Он такой аккуратист, всегда отглажен. А какой воспитанный! Всегда спрашивал, можно ли закурить, и дым отгонял ладонью в сторону. А он ведь ей был сладок! Дым!

Было хорошее, было. Они ездили по Военно-Грузинской дороге, и вдруг выяснилось: у нее плохой вестибулярный аппарат и ее тошнит на этих виражах. Он тут же прекратил поездку. Пропали две путевки, а он сказал: плевать. Поселились в Туапсе. Он приносил ей в резиновой шапочке виноград, втирал ей в спину масло для загара. А потом шили ей шубу. Котиковую. В специальном ателье. Он туда нашел ход и сказал мастеру: «Сделайте, как своей жене». Хорошая была шуба, теплая, объемная. Первая хорошая вещь в ее жизни.

А потом мстил. Мстил за шубу, за хрустальную люстру, за серебряный кофейный сервиз. Мог сказать: «Другие люди...» Что другие? Другие уже машины давно купили. «Не в тряпках счастье». А она разве говорит, что в тряпках? Всегда для нее работа была на первом месте, а быт – на втором.

Когда Ираида выходила замуж, дети подразумевались сами собой. Раз муж, значит, дети. Через три года созрело легкое удивление – почему? Но так, чтобы тревога или разочарование, – этого не было. Годы перешагнули за тридцать, в руках был отдел, воплощались идеи, очень ощутимыми были преимущества бездетности. Поэтому вначале из стыдливой деликатности, а потом уж и сознательно тему эту они с мужем не обсуждали. Нет и нет, и хорошо.

... Та молодая женщина с японским зонтиком могла быть и дочерью Валентина Петровича. Странно, но Ираида тогда не могла решить, что лучше: чтоб она была его женщиной или его дочерью?

Какая глупость может не давать покоя! Ну какое ей дело? Любовница, жена, дочь... Да ей-то что? Три раза чай пили, два раза детям бельишко стирала, на набережную ходили... Так нет же! Все-таки кто она ему? Подошла и провела пальцем по щеке. И замерла рядом.

Сейчас, покачивая себя на мягких пружинах, И. А. вдруг вспомнила свою старую, с крестом в окне комнату, коричневые куски хлеба на выщербленной дешевой тарелке. Она ножом выковыривает из банки резиновый джем, а дочь Валентина Петровича, Наташка, подпрыгивает от нетерпения рядом.

– Ну, доченька! – говорит он.

И тогда девочка бросается к нему на руки, прыгает у него на коленях... А она, Ираида, все возится и возится с проклятым неподдающимся джемом. Наташка вздыхает и пальчиком проводит по отцовской щеке, по маленькому шраму. Ираида так и не успела узнать, где этот шрам заработал.

Значит, дочь Валентина Петровича... И стало легче. Даже смешно стало. Как-то поникли другие «но» – костюм и депутатский значок.

Дело в том, что Ираида теперь уже с глубочайшим сочувствием относилась ко всем, имеющим взрослых детей. Она имеет глаза, она видит... Она имеет уши, она слышит. Она хорошо знает, что такое взрослые дети. К Анне Берг приходит сын. Молодой, а плешивый, рыхлый, с длинными волосами на затылке. Приходит стрельнуть четвертную на «личные потребности». Анна хохочет басом и дает. Сын ведь! Когда Ираида видит это, она торжествует, что подобного безобразия она, слава Богу, лишена. А если была бы дочь?... Тогда представляется невестка Анны, вся в камнях, цепях, брелках, кулонах, с загнутыми, как когти, малиновыми ногтями на растопыренных хватающих пальцах. Она тоже прибегает к свекрови за десяткой. На блок сигарет, пудру, помаду, капрон... Она, в отличие от сына Анны, долгов свекрови никогда не возвращает, на что Анна говорит:

– Черт со мной... Пусть лучше мне не отдаст. А то закатит кто-нибудь чужой Мише скандал, и будет у него на нервной почве прободение...

Когда таких детей нет, это подарок судьбы. Конечно, есть и другие. Правда, она лично не видела. Все сосут, все тянут, а ты их – люби! Кстати, если уж быть справедливой, то в вопросе о взрослых детях они с ним единомышленны. Поэтому глупости говорят о ней: «Она такая, потому что детей нет». Это не разговор, уважаемые, не разговор... Родить ребенка – ума не надо. Это – личное дело каждого. А чем оборачивается? Остервенелостью, какая там работа! Накормить, одеть, устроить, выдать, нянчить... А кто будет делать остальное?

Есть, правда, у нее в отделе одна... Мария Митрофановна. По мозгам – министр. Во всех спорных, а то и тупиковых случаях идут к ней. И. А. ненавидит себя в этот момент. Пару раз было так, что она отказывалась от правильного решения потому, что его предлагала Мария, но это слишком дорогая – государственная! – цена за гордость. Смешно: к мозгам Марии всегда надо проходить через какое-то чертово свечение. Совершенно точно – свечение. Она будто в нимбе из любви к детям, к внукам, книгам, картинам, птицам, собакам... Фу! Ей могут звонить из ЦК, из Совмина, из Госплана, к ней едут консультироваться сэвовцы, но все – поголовно все! – должны будут «по дороге к мозгам» восхититься фотографией кота Максика, что висит у нее над столом, поговорить о внучке Леночке, у которой – ужас! ужас! – сколиоз, почитать сочинение племянницы Веры, за которое та получила где-то там приз, – да мало ли что еще надо сделать! И сделаешь, чтоб эта курица наконец снесла свое золотое яичко. И она ведь знает, знает, что они терпеливо слушают весь этот бред, потому что она им нужна для другого. Так еще говорит: «Милые вы мои! Все вторично, только любовь первична. Для женщин эта истина бесспорна, для лучших мужчин – тоже, а вы меня, Ираида Александровна, простите, что я отвлекаюсь, я помню, что время – деньги, но это не мы придумали, а американцы, и так ли уж нам надо этому следовать?» И будет бесконечно светиться, сочиться этим своим естеством... А мозги – черт ее дери! – министра. Посидит, помяукает над бумагами – и предложит выход. На ее шестидесятилетие министерство было завалено подарками и телеграммами: не уходите!

Курица Мария. Она с мужем – он у нее большой начальник, учитель ботаники в восьмилетке, лютики-цветочки, одним словом, – так она с ним ходит по улице в обнимку. «Как хорошо, говорит, молодые придумали эту манеру!» Зинаида однажды шла за ними от Трубной до Театра Советской Армии. Шла как замороженная.

И тут пришло плохое воспоминание, очень плохое. Зина. Они с ней вместе начинали, в сорок первом... Шли ноздря в ноздю, а потом, после войны, Ираида подругу обошла. У Зинаиды не было жизненной хватки. Одно пальто на десять лет, одна комната на всю жизнь. И не скромность это! Бескрылость. Ну, не вышла замуж... Господи! Да начни она, Ираида, снова, она бы теперь очень и очень подумала, стоит ли этот «замуж» свеч... Со стороны у всех ладно, а если копнуть?

Глупая женщина была Зина, и бзики у нее были глупые: если уж никто замуж не берет, то хочу «собственную грушу в собственном дворе на Клязьме. Чтоб лежать под ней и ни о чем не думать».

Откуда могла быть собственная груша у Зины? Она, Ираида, так у нее и спрашивала: «Откуда у тебя могут появиться на это деньги?»

Потом, через много лет, она пригласила Зину к себе на дачу. Та уже сильно болела. Ходила мало, но тут медленно, с остановочками все обошла, обсмотрела, потом села на лавочку и сказала очень ядовито (а жить ей оставалось три месяца!):

– Нет, Ираида, это не Клязьма. И груши тут нет.

Не забыть ей этого! Она, идиотка, везла ее на такси на природу, за город, она ведь знала диагноз, знала, что это вопрос месяцев... Хотела порадовать женщину. Сгоняла Вячеслава в Пушкино за рыночной клубникой... Зина, правда, клубнику ела и коньяку выпила: «Мне уже все можно, что нельзя». А сама дачу и территорию вокруг нее в грош не поставила.

– Не обижайся, – говорила она Ираиде. – В обездоленное ты меня привезла место. Оно не для человека – для должности предназначено. Посмотри, тут даже у сосен казенный и безликий вид... Люди не оставляют здесь следов, они проходят, как тени...

Ираида тогда сказала:

– И хорошо, что не оставляют следов. Значит, сохраняют природу...

Но Зина махнула рукой:

– Не придуривайся. У тебя ведь есть деньги. Купи себе лачугу и посади грушу. Заведи кошку, собаку. Подвесь на грушу рукомойник. Выкопай колодец...

Ираида смотрела на Зину и думала: сумасшедшая. Рак уже совсем разрушил ее личность. Это же надо подумать – рукомойник на груше.

Зина умирала у нее на руках. Открыла глаза, узнала:

– А! Ты! Ну как? Посадила грушу?

Сразу после крематория Ираида поехала на дачу. Первый раз в жизни она не вернулась на работу в рабочее время. Села на электричку и уехала. Ну вас всех! Была осень. С дач съехали те, у кого дети – школьники, остались только старики и бездетные. Было как-то очень тихо и покойно. Ираида бродила по участку.

А что, если и правда посадить здесь грушу? И она стала искать место. Это было трудно, потому что все давно было посажено, посажено планоно, разумно, а пустые пространства имели целевое назначение – для сушки белья, для футбола или детских песочниц. «Люди же думали, думали! – возмутилась Ираида. – Этот участок не для груш. Здесь свой порядок».

И тут этот всегда радовавший своей раскладкой порядок вдруг обернулся в ней ощущением паники. Представилось, что она – Зина, у которой до самой смерти не было изолированной квартиры, и не было денег на первоклассный санаторий, и не было мужа, и не было груши. А вот теперь и самой ее нет. Совсем и нигде. Очень легко было почему-то перевоплотиться в Зинаидино нечто. Вот ее нет. На следующее лето на казенной постели казенной дачи у этих казенных сосен будет спать ее преемник. Он только слегка, чуть-чуть что-то передвинет, вобьет на терраске два собственных гвоздя. Наверное, один для плаща, а другой... На другом он повесит ракетку. За зиму в помещении выветрится их дух. Не будет никаких признаков жизни ее и Вячеслава. «Маленькие» она ночью перед самым отъездом вынесет в овраг. Вместе с ними баночки из-под кремов и бутылочки от аллохола. И все. Но тут мысли сбились. Ведь не обязательно умирать, чтоб так от тебя ничего и не осталось. Зачем умирать? Достаточно уйти с работы... Уйти на пенсию... И тогда она испугалась, что не вернулась на службу после крематория. И побежала на электричку. Если успеть на ту, что в шестнадцать двадцать, она приедет к концу работы. И она бежала, скинув босоножки, прямо в капроне.

... Что ни говори, а кусок жизни ушел с Зиной. Как ушел когда-то с Митей. С Иваном Сергеевичем... С Валентином Петровичем...

Каждый раз в этом месте она на себя сердилась: нехорошо живого перечислять вместе с покойниками. Ведь Валентин Петрович жив, и даже депутат какой-то. Никогда она ничего плохого ему не желала – только хорошее. И не сделала ему ничего плохого... Но от логических и правильных этих объяснений самой себе легче не становилось.

К утру В. М. почему-то вспомнил, что четвертая подруга жизни Шибаева – стоматолог и наверняка имеет золотишко. Вот непотопляемый мужик, вот ловчила! Сто раз другой бы сгорел дотла, а этот выныривает, и ему все лучше. И дети у него от каждой подруги,

но чтоб кто написал на него бумагу или он сам от кого отказался... Даже в гости к ним ездит, как родной. И тяжкая, горькая обида с головой покрыла В. М.

В конце концов он тогда решил заехать к Насте с самыми добрыми намерениями. И не выглядел его заезд, как крюк, почти по прямой ехал, только остановку сделал и маленько попуткой. Все-таки родина, молодость, потянуло. Это никто не осудит. В чем криминал? Шел и думал: «Я иду по-хорошему».

Настя стояла на стремянке возле дома и – нате вам! – белила стену. Увидела его свысока и залилась:

– Ой, держите, я сейчас свалюсь! Это ж надо...

У Вячеслава Матвеевича легкий чемоданчик, свободной рукой он придержал тогда стремянку, чтобы Настя слезла. Совсем рядом мелькнули ее полные белые ноги и зеленая комбинация.

– Я чего зашла, – смеется она, вытирая руку о фартук и протягивая ему, – я теперь как белю, так тебя вспоминаю! Помнишь, как я тебя опозорила! И тут вспомнила. Смотрю, а ты собственной персоной...

– Проездом я тут. – Голос у Вячеслава Матвеевича хриплый. – Дай, думаю, посмотрю, как живешь.

– Ну, ну, ну... – Настя смеется. – С чего бы это вдруг? Ну, садись, оглядывайся. Скоро мой с работы придет, познакомлю.

– Замужем?

– Вот это да! А как же? – И все смеется, все смеется. – А ты?

– Женат. – Гордо у него так получилось, вроде все кругом сплошь холостые, а вот он женат.

– Детки есть?

– Детей нет, – в той же тональности продолжал он. – Мы оба очень много работаем.

– И поэтому детей нет?

Ну, таким приемом его не собьешь.

– У нас другая жизнь, Настя.

– А! Музеи... Театры... Зельдин и Нэлепп...

– Что? – Вячеслав Матвеевич тогда почему-то то ли испугался, то ли обиделся: это-то к чему?

– А у нас трое, – сказала Настя.

– Муж у тебя кто?

– Золотой человек. А сын уже директор школы. А дочка старшая в институте, младшая в школе. Так и живем. Дай Бог каждому.

– И мы тоже живем хорошо. Значит, все хорошо и есть...

– А ты чего приехал? Скажи все-таки, чего? На меня посмотреть, на детей моих или еще чего?

Она глядела на него снизу вверх, такая вся маленькая, сбитая, с копеечной гребенкой в волосах, в платье, заляпанном известкой. Сверлила мысль: почему она не пошла переодеться? Все-таки он гость или не гость? Мужчина или не мужчина? «Опустилась! – радостно подумал он. – Совсем опустилась!»

– Проездом я, – сказал небрежно. – Мимо. Я сейчас и уйду. У меня поезд скоро.

– Ну-ну! – странно так ответила Настя. – Ну-ну! Будешь идти мимо школы, посмотри на моего сына. Он с ребятами в футбол играет.

– Директор школы?

Настя засмеялась:

– Не положено?

– Странно как-то...

– Ну иди, раз проездом.

– Ты уже в возрасте, – вдруг напыщенно сказал Вячеслав Матвеевич. – Могла бы на побелку позвать кого-нибудь. Нанять.

– Я, Слава, всю жизнь свою чистоту сама блюду! Нанять! А может, мне это нравится?

Ничего больше из разговора не помнилось. Но было, видно, что-то еще, потому что шло время и какие-то тетки повывезли к калиткам, поставили ладони козырьком, уставились. И за две минуты ведь не могло родиться ощущение, что он с Настей и не расставался с той самой московской поры, ему даже показалось, в дверях напротив Настиного дома стоит та самая дама в банном халате. Вот тогда он почему-то испугался. Вроде надо что-то объяснять, слова какие-то говорить. Он даже слегка вспотел, хотя вообще был мужчина непотеющий, чем, кстати, весьма гордился.

И он стал говорить. Что у каждого, мол, своя дорога. Вся жизнь – дорога. А поскольку это так, то хорошо иметь подходящего попутчика.

– А! – сказала Настя. – Поняла. Попутчика. В домино играть, в карты... – И засмеялась: – Ты, Славик, не объясняй. Чего через столько-то лет?

– Да нет же! – взволновался Вячеслав Матвеевич. – Ну не то слово... Не попутчик... Пусть соратник... Понимаешь?

– Понимаю! – сказала Настя. – Это хорошее слово. Мне нравится. Давай я тебя покормлю? Да я обязательно тебя покормлю! Как же иначе? И как попутчика покормлю, и как соратника, и как знакомого, и даже как мужа первого покормлю. – И Настя вдруг в азарт вошла, всплеснула руками и кинулась в дом.

Но у него хватило ума посмотреть на черный японский хронометр и остановить ее: «Очень жаль, но, увы...» И наплел про машину, которая ждет его за бугром.

Напоследок сделал жест – поцеловал Насте руку, морщинистый, загорелый, крепкий кулачок.

Уходил, как уплывал. Так, во всяком случае, хотелось ему выглядеть в каждом глазу из-под ладони-козырька. Так бы и совсем уйти белым пароходом... Но остановился возле школьного футбольного поля. Среди ребятишек один взрослый. Это и есть, значит, Настин сын. Тот удивленно стал оглядываться, потом взял мяч и пошел к забору. Чем ближе подходил он, тем приятней делалось Вячеславу Матвеевичу: Настин сын ему не нравился. Исхитрилась Настя родить парня как раз такого, каких он терпеть не мог. Такой именно тип. Во-первых, седина. С чего бы это в тридцать лет? С каких горестей? Что он видел и что он знает? Во-вторых, этот взгляд – бьющий на расположение. Зачем? С какой радости? Ты мне кто – кум, сват, брат? И вообще весь вид. Спортивный костюм на нем дорогой, чистошерстяной, не тряпка. Зачем же тогда по колену грязным, пыльным мячиком постукивать. Если уж не можешь без этого, купи для таких целей трико за пять рублей сорок копеек. И стучи до помрачения сознания.

– Вам кого? – спрашивает Настин сын.

– Что же вы, директор, а в мяч... Как маленький.

Тот смеется Настиным смехом.

– Откуда вы знаете, что я директор?

– Да уж знаю. – Хотелось и про костюм сказать, и про седину спросить: с каких, мол, нечеловеческих страданий?

– Я думал, вам закурить, – сказал Настин сын, – так я некурящий! Еще и некурящий!

– Играй! – будто разрешил Вячеслав Матвеевич, и тот рассмеялся: именно так и понял.

– Ну, спасибо! – сказал Настин сын и ловко так, как мальчишка, поддал мячик левой, вполне профессионально поддал.

Когда они поженились с Ираидой, он ждал сына. Не родился. Потом даже решил: хорошо. Свободно.

А сейчас вдруг подумалось: да был бы этот седой парень его сын, да пусть бы он десять костюмов враз бы изорвал, да он бы сейчас сам в своем кримплене такую бы «свечу» сделал, что все бы ахнули. И пусть бы ахнула Настя. Пусть бы всплеснула руками.

Странное было у него состояние. Все он делал так, как надо. Мужа дожидаться не стал: руку, как положено, поцеловал; ушел побыстрому, вроде по делу; держался красиво, парню высказал свое мнение о футболе корректно, не навязываясь, пришел и ушел, когда сам захотел, а чего ж у него так все болело?

Будто им как из рогатки выстрелили. И вот он теперь летит и шмякнется неизвестно где, прямо брюхом.

Вячеслав Матвеевич выпил тогда в станционном буфете. Выпил много, жадно, не закусывая. Буфетчица – слышал он – сказала одному мужику:

– С виду человек с положением, а алкаш...

Первая половина данного ему определения не польстила, а вторая не огорчила. Подумалось: первое – неправда и второе тоже... А правда... Правды не было... Ничего не было... Всю жизнь... Всю жизнь он мечтал приехать к Насте и убедиться: тогда он поступил правильно. А получилось иначе. Настя засмеялась, и от надежды осталась пыль. И было так, как было. Старый человек пришел к старой любви, и сказать ему было нечего. Он, конечно, что-то лопотал про какой-то путь развития, а она кивала и все хотела накормить.

Он не идиот. Он уже тридцать лет знал, что именно так все и будет. Ничем это не запить... Ничем и никогда.

Резко звонит будильник. Семь утра. Оба мучительно открывают глаза. Была ночь или ее не было? Болят поясница, шея, голова... Ах, не вставать бы... Без пятнадцати восемь они за столом.

– Когда вчера вечером ты ел миноги, ты забыл закрыть холодильник. Хорошо, что я вставала...

– Ты после стирки в ванной пол не вытерла. Всю ночь стояла лужа.

Сказали и спрятались за газетами.

Она хотела наклониться над чашкой, но французская грация тут же властно и колюче выпрямила ее.

«Как в капкане», – подумала она и медленно поднесла кофе ко рту...

Каким бесконечно длинным может быть путь чашки с кофе.

1975